

АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ

РУССКИЕ
РОМАН
В ПОВЕСТЯХ
МАЛЬЧИКИ

Музыка
Магазин
ненаглядных
пособий



Альберт Лиханов

Магазин ненаглядных пособий

Ершов В.Г.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=139135

Собрание сочинений: в 4-х т. Т. 1 / Предисл. А. Алексина; Коммент. И.

Мотышова.: Мол. гвардия; М.; 1986

Аннотация

Повесть про необычный магазин, страшный скелет, захватывающую фотографию, серба Витьку Борецкого и одноклассника Вовку Крошкина.

Альберт Лиханов

Магазин ненаглядных пособий

*Светлой памяти Лидии Иосифовны Доукиши
посвящаю.*

Автор

Могу биться об заклад: в моем детстве все было не так, как теперь. И если не понявший меня задаст уточняющий вопрос – лучше или хуже? – я воскликну, не сомневаясь: лучше! В тысячу, в миллион раз, и не подумайте, что я занудливый, скрипучий старик, которому ничего вокруг не нравится, всем он недоволен, только и знает приговаривает: «А вот раньше, а вот тогда...» Нет, пока что я не старик, и дело тут совсем в другом.

Дело в том, что в моем детстве действительно все было лучше. Например, цвело больше одуванчиков – да, да! Теперь они прячутся куда-то подальше, на дальние лесные поляны, и в городе робко выглядывают из-за кустов редкими желтыми глазками, а в моем детстве они росли рядом с тротуарами, рядом с дорогой, и, когда ты шел по городской улице, тебе казалось, что ты идешь ну просто по солнцу! Желтые поляны слепили глаза, и надо было шуриться, чтобы не споткнуться о тротуарину, которая то прогнется дугой, то

выдвинется боком, то завирюхается под ногой от древности. Ранним летом тогда вообще можно было поправить настроение на улице. Расстроился чем-нибудь, огорчился – выйди на улицу, когда одуванчики цветут, пройди два квартала солнечной дорожкой, да еще сверни на пустырь возле школы, где одуванчиков море разлитое, и будешь еще вспоминать, что это такое тебя расстроило, какая неприятность: одуванчики ярким цветом своим сотрут все в голове, а если уж не сотрут до конца, то вроде бы неприятности твои отодвинут вдаль, и они окажутся уже мелкими и нестрашными. Вроде как одуванчики волшебством каким обладают.

А когда они отцветут? Когда дунет ветер посильней? Праздник на душе, ей-богу! Несутся по небу тучи – бегучие, летучие. А от земли к тучам взлетают миллиарды парашютиков – настоящая метель; но как ни силен ветер, он непременно стихнет, и с неба, будто облака сбросили десант, плавно, медленно в наставшей вдруг тишине летят назад одуванчиковые парашюты, и тогда хорошо залезть на забор, или на крышу дровяного сарая, или даже на крышу дома, сесть там на самый конек и задрать лицо к небу, разглядывая парашютики, встречая их взглядом и провожая к земле. В такой день ходишь ликующий, будто это ты сам летал над землей, поглядел на нее сверху. Или увидел какое-то чудесное чудо, салют, а может, странный дождь, который сулит впереди тайную радость и исполнение желаний.

В моем детстве было больше воды в нашей старой реке и

ее не рассекали песчаные отмели – это уж всякий подтвердит, даже ученые. В моем детстве в реке была рыба, клевали на удочку здоровущие окуни, не то что сейчас, всякая мелкота! В моем детстве было больше птиц, и почему-то среди всех других – стрижей. Они носились над крутым берегом реки, над нашим оврагом, а жили под стрехой поликлиники, которая стояла впритык с нашим домом. Там любили селиться стремительные птицы, чей полет похож на след молнии.

По стрижам мы всегда узнавали погоду: если летят понижу, прямо над твоей головой, с легким шелестом разрезая воздух, значит, к дождю, а если вьются в бездонной высоте мелкими точками, значит, к ведру, можно не опасаться – самая надежная примета.

В моем детстве было много разных важных событий, так не похожих на сегодняшние, но дело не в непохожести, а в том, что все это я видел и помню до сих пор.

Видел, хотя мог и не видеть, и помню, хотя мог не помнить.

Почему?

Мне кажется, все дело в фотоаппарате.

* * *

Среди необыкновенностей моего детства был один магазин.

Это был сказочный магазин! Сколько потом я ни ездил,

ни ходил, ни летал по белу свету, я больше не встречал таких магазинов – может, не везло, или, может, их не стало вовсе, а вот в ту военную пору магазин такой был, и не где-нибудь, а в нашем не бог весть каком большом городе. До сих пор я ломаю голову: зачем был этот магазин, почему? Ведь в нем почти не покупали и ничего не продавали.

Взрослых в этом магазине не бывало, единственная публика – дети. Но какие мы покупатели? Однако я не стану спешить. Прежде чем войти в магазин, требуется пояснение.

Вот оно.

Читать, и довольно бойко, я научился еще до школы, в детском саду. Когда настала пора отдавать меня в школу, вышло решение: принимать детей не в первый класс, а в подготовительный. Тех, кто учился в таких классах, называли приготовишками. Какой-то деклассированный элемент, ни то ни се, ни рыба ни мясо, не детсадовцы, не школьники. В подготовительных классах больше болтались, чем учились, – по крайней мере, так высказывались мама и бабушка, по какой-то такой удивительной женской привычке совершенно не обращая внимания, что я, как суслик, насторожился и глотаю каждый их звук, не то что слово.

– И где учителей наберут для этих классов? – размышляла мама. – Настоящий педагог туда не пойдет, значит, наберут всяких недоучек.

– Хулиганствовать токо будут, – кивала согласно бабушка. И всплескивала руками: – Надо же! Чтобы в первый класс

попасть, еще целый год учиться!

Я заволновался: все-таки уже читал довольно бегло, да и считал до полусотни – это в детском-то саду, – и вдруг тебя не пускают даже в самый первый класс!

Обсуждение, как быть со мной, затянулось надолго. Мне казалось, родные мои мама и бабушка демонстрируют поразительную нерешительность. Они будто обмеривали меня, как выловленную рыбу. А рыба только хлопает хвостом, тяжело шевелит жабрами и молчит.

– Приготовительный класс не обязателен, – говорила мама, – но если он не справится с программой первого класса, могут ссадить назад, в подготовительный. Тут уж в детский сад не вернешься.

– Нашего не ссадят. Пусть попробуют ссадить! – отвечала бабушка, неизвестно в кого больше веруя, в меня или в себя. – А жалко. Маленький ведь, худой, гляди – одни кости, пусть подрастет в детском саду еще годик.

Я родился в сентябре, и у бабушки с мамой была бюрократическая зацепка за этот факт: они могли отдать меня в школу без полумесяца семилетним или почти восьмилетним.

– А зато школу как кончит, сразу в армию, – печалилась мама.

– Эк куда хватила! – махала ладошкой бабушка. Десять лет ей казались далью неохватной, немереной, и так далеко загадывать тогда никому не хотелось: война только началась, и отец совсем недавно ушел на фронт.

Отец ушел, радио говорило тревожным голосом Левитана, школы переезжали из своих зданий в деревянные бараки и старые дома, жильцов в квартирах уплотняли: вдруг поздно вечером открывалась дверь и входила женщина, а то и не одна, с ребеночком, с другим; в руках женщина держала ордер на уплотнение, и ничего не поделаешь, приходилось вытаскивать пожитки из одной комнаты в другую, если раньше жили в двухкомнатной квартире, а чаще всего из одного угла комнаты в другой, потому что в двухкомнатных квартирах до войны редко кто жил, и эвакуированные помещались в той же комнате, только за занавеской. Ну, а главное – приходили первые похоронки, и мы, махонькие ребята, уже слыхивали истошный бабий вой – на одной ноте, – от которого бегут по заливку мурашки и все в доме замирают с одним суеверным заклинанием: «Только бы нас обнесло!..»

Самым горьким человеком на нашей улице была почтальонка Муся. Жила она где-то на другом конце города – я думаю, почтовое начальство специально так подстраивало, чтобы почтальонка никого близко на нашей улице не знала, – и появлялась, как молчаливая серая птица, в одни и те же часы.

Бабушка с утра задерживала занавески в комнате, тревожно поглядывала на ходики, а когда наступал час и на улице появлялась почтальонка, бабушка подходила к окну, вставала так, чтобы ее не было видно, а сама она бы видела все, поверх занавески следя за действиями почтальонки, и минут

на пятнадцать замирала – даже дыхание как будто замедляла. Иногда я становился впереди бабушки, раздвигал пошире щель между занавесками и тоже смотрел, как, потупив глаза, быстро идет по улице Муся, подходит к ящикам, бросает в них газеты и письма, худая, кожа да кости, худенькое пальтецо болтается на плечах, как на вешалке, красные руки торчат из коротких рукавов и такой же красный, озябший нос.

Я жалел Мусю, а бабушка ее не любила неизвестно за что и всякий раз крестилась, облегченно вздыхая, когда почтальонка проходила наш дом. Каждое утро бабушка исполняла этот ритуал – замирала на пятнадцать минут, таясь за занавеской. Потом крестилась, и жизнь продолжалась.

Моя ученическая судьба решалась в августе сорок первого года, когда, как я теперь понимаю, от жизни до смерти и от неуверенности до веры был всего лишь один шаг. Утром бабушка выглядывала из-за занавески на почтальонку Мусю, страшась самого горького, а вечером они с мамой рассуждали о таком смешном, но, получалось, важном – сколько мне будет лет, когда я кончу школу и какой толк от приготовительного класса.

Было ли что-нибудь странное в этом?

Было, но только лишь если поглядеть на то время из сегодняшнего дня. В ту же пору никто ничего странного не увидел бы. А ежели кто-то заговорил об этой странности, ему бы ответили: «А что же делать? Жить-то надо!»

И жили! И я не знаю случаев, чтобы заорали, стали жаловаться, если вдруг на пороге появлялась женщина с детьми и ордером на уплотнение. Мирно подвигались и жили. Всякое, наверное, было, может, кто-то и побежал жаловаться, но ничего у него не вышло, а если и вышло, то такая несправедливость исчезла из памяти, а осталось только это: «Что же делать, жить-то надо!» И в тесноте надо жить, и в беде тоже надо жить, и когда почтальонка Муся того и гляди принесет бумажку, от которой завоет кто-то так, что мурашки по спине...

Бабушка и мама решили меня все-таки в пригостишки не отдавать, пусть я покормлюсь перед школой в детском садике и уж лучше без полумесяца в восемь лет пойду сразу в первый класс. А чтобы не ссадили оттуда к пригостишкам – что просто унижительно в восемь-то без полумесяца, – надо мне учиться.

И мы с бабушкой начали странные уроки. По дороге в детсад и из него я считал – уже до сотни! – и читал. Но читать на улице можно было только вывески.

Дорога с бабушкой из детского сада – утром-то все-таки поспешали! – была долгой и забавной, и за эту дорогу много я выучил в ту пору разных слов, которые бабушка объясняла в силу своих знаний и пониманий. Вывески были разные, они отличались по цвету, преимущественно черные и бордовые с белыми или золотыми буквами, по размерам – от совсем маленьких до длинных и застекленных, по словам –

понятные, написанные полными словами или сокращенные, словно засекреченные. Например, «Гортоп». За этой вывеской, во дворе, лежали дрова, возле дров всегда суетился народ, хотя еще совсем недавно, несколько месяцев назад, до войны, на дровах всегда дремал сторож в валенках и было тихо, как в глухом лесу.

Некоторые вывески звучали торжественно и нелепо, особенно зимой, — я и зимой читал все те же вывески, их на зиму никто не менял: «Общество спасения на водах».

Некоторые вывески соединяли в себе слова совершенно уж невероятные, и, хотя бабушка раскрывала их земной смысл, они так и оставались для меня обозначением каких-то неземных дел: «Райфо», «Райплан», «Районо».

Бабушка поясняла, что за мудреными словами скрываются районные финансы, районный план и районный отдел народного образования, но я словечко «рай» воспринимал буквально, и мне казалось: в доме, на котором висят эти таблички, находятся райские финансы, райский план и райский отдел народного образования. Обшарпанный этот дом в густых зарослях мальвы казался мне местом сказочным, там, на трех невысоких этажах, мне слышалась райская музыка, необыкновенные цветы, похожие на одуванчики, только не желтые, а красные, голубые, сиреневые, на длинных ножках, и в этих цветах лежат пачки совершенно натуральных нашенских денег, какие-то чертежи. Как выглядит народное образование, я так и не придумал за все эти долгие годы, по-

тому что сразу за углом открывался вид на мой необыкновенный магазин.

– Читай, – подталкивала меня бабушка, но я не спешил исполнить ее команду, а любовался внешним видом моего магазина.

Он был необыкновенным во всем, начиная с входа: у большого каменного дома как будто обрубili угол, верхние этажи украшали фальшивые балкончики, на которые никто никогда не выходил, а внизу сверкала стеклянная старинная дверь, и я торжественно произносил, даже декламировал:

– Магазин! Учебно! Ненаглядных! Пособий!

– Неужели так трудно хотя бы запомнить! – возмущалась всякий раз бабушка. – Наглядных! Посмотри на буквы! «Нагляд-ных по-со-бий», – читала она по слогам.

И я повторял за ней по-своему:

– Магазин ненаглядных пособий.

Я был упорен в своих взглядах. Однажды по радио пели песню, где были слова «ненаглядный мой». Я сразу спросил маму, что значит ненаглядный.

– Ну, – ответила она безразлично, – наглядеться нельзя.

Вот именно! В этом магазине наглядеться нельзя, глаз оторвать невозможно. Какой же он магазин наглядных пособий? Ненаглядных!

Это был магазин ненаглядных пособий.



Ах, как длинны дороги в детстве!

И как сладка первая свобода!

Нынче дорогу от своей бывшей школы до дома я промахиваю за дюжину минут, не встретив ничего достойного внимания, — магазин ненаглядных пособий умер, его нет, и тот угол под балкончиками, которые тоже бесследно исчезли, занимает другой магазин — совершенно скучный магазин обыкновенных игрушек, битком набитый заводными машинами, кубиками, куклами, медведями и прочей дребеденью, возле которого не встретишь даже малышей. А тогда, тогда...

Тогда дорога из школы домой занимала час — самое малое. Шесть с половиной кварталов, длиннейший из которых не больше двухсот метров, я одолевал так, как одолевает гурман вкусное пирожное: откусывая по маленькому кусочку, разжевывая тщательно, жмурясь и мурлыча от удовольствия и уж потом — совсем-совсем потом — неохотно проглатывая. Кто-то там бежал, спешил по разным неотложным делам, а у меня быстро никак не получалось, и время от времени дома происходили яростные стычки с бабушкой, которая никак понять не могла, что целый час я просто иду из школы, просто шагаю и никаких в этот час не совершаю преступлений — не курю с приятелями, не шатаюсь по рынку, не бегаю по пустырям с мелкими жуликами моего возраста, которых

развелось в нашем городе великое множество. Нет, не понимала меня бабушка, не понимала, что можно просто медленно идти, останавливаясь у старых тополей, чтобы послушать вороний грай, зайти во двор «Гортопа» и поглядеть, как женщины грузят на телеги дрова для своих печей, суетясь, оживленно переругиваясь, а в самые ответственные и спорные мгновения размахивая какими-то бумагами, полученными, видно, в конторе. Ну а главное, ведь надо же каждый день обязательно заглянуть в чудесный магазин!

Я делаю этот проскок в целый год, от детского сада к школе, безжалостно и вполне умышленно листанув дней четыре-ста, чтобы скорее приблизиться к моему дорогому магазину. Ибо какое же удовольствие и какое наслаждение может испытывать человек, которого на минуточку, да и то без всякого встречного желания, лишь под напором нытья и даже плаксивого хныканья заводит за руку бабушка, чтобы тут же, брезгливо фыркнув, вытащить обратно?

Нет, нет и нет! С бабушкой – это не магазин, хотя она и водила меня туда, когда я еще ходил в детсад. Магазин ненаглядных пособий становится чудесным, когда ты на свободе и когда ты один.

И вот через год, в счастливом одиночестве, я ступаю на порог магазина – все предыдущие сюда заходы, забеги, заскоки недостойны описания, – потому примерно через год я прикрываю за собой осторожно стеклянную дверь и счастливо улыбаюсь: наконец-то!

Магазин ненаглядных пособий перегорожен тремя рядами высоких стеклянных шкафов. У дальней стенки, сделанной тоже из стеклянных отсеков, только поменьше, за прилавком дремлет седенькая старушка в коричневом свитере. До старушки я еще доберусь, а пока медленно, по шажочку, боком двигаюсь вдоль первого, у окна, шкафа.

На полках – в застекленных коробках – ловко пришпилены сухие бабочки. И какие бабочки – таких я никогда не видал! Полосатая, с голубой перламутровой каймой вдоль крыльев, ярко-красная, в точку, рыжая, с крыльями, оттянутыми вперед, толстые, как самолеты-бомбовозы, и стремительно изящные, с прозрачными крыльями, похожие на планеры, какие в летний полдень висят над загородным лесом.

В другой коробке жуки – от крохотных, едва заметных бусинок до страшных огромных носорогов, чемпионов среди жуков. Найди такого – и можно выменять у мальчишек самую красивую марку, самопал, счастливую жестку, с которой можно обыграть самого ловкого игрока или просто-напросто стать знаменитым человеком, когда ребята показывают на тебя пальцем и говорят между собой довольно громко, так, что и ты слышишь: «Вот у этого пацана есть жук-носорог размером с ладонь». Ничего, что в таких разговорах все немножечко преувеличено, такова слава: она со временем прирастает сама по себе, без всяких на то усилий.

Вот в этом была особенность чудесного магазина, в этих всяких размышлениях. Смотришь на гигантского жука, а в

голову сами по себе, без всякого зова, лезут разнообразные мысли, не связанные между собой в единое целое, но чрезвычайно важные для любого человека.

Вот, например, шкаф с жуками и бабочками соседствует со страшным, но еще не самым страшным: в больших запаянных сосудах со спиртом извиваются змеи. Черная, злоедающая гадюка, желтая медянка, еще и еще какие-то. Я не видел змей в жизни, да не так уж много и слышал про них – какие в городе змеи и разговоры об этом! – но даже мертвые, заспиртованные и потому, ясное дело, безопасные твари вызывают ужас и отвращение, смешанные, однако, с любопытством. Кривясь от брезгливости и собственного страха, я тем не менее мысленно освобождаю змеюгу из банки, сушу на солнышке и доставляю в класс, чтобы на перемене, изобразив на лице равнодушие, вытащить эту штуковину на парту, или, еще лучше, кладу потихоньку в портфель Вовке Крошкину, чтоб он заорал диким голосом, или, вовсе здорово, Нинке Правдиной, и что было бы тут – представить просто невозможно...

Откуда возникали во мне такие мысли, я и сейчас понять не могу. Воинственностью характера я вовсе не отличался, наоборот, не любил ввязываться во всякие проделки, которых в школе хватало. А вот нарочно змею засунуть в портфель – это мне в голову приходило, и, надо заметить, не то чтобы иногда, порой, время от времени, а каждый день, едва я заходил в свой магазин и принимался разглядывать змей,

заспиртованные экспонаты. Думаю, причиной была все же жажда известности... И откуда она бралась только? Но мне страшно хотелось этого... Ребята будут показывать на меня пальцем и громко говорить между собой: «Этот пацан засу-нул в портфель удава». Ничего, что опять немножко преувеличено – не удава, а медянку или, от силы, гадюку, но ничего не попишешь, такова слава.

Рядом со змеями, целый отсек в нижнем шкафу, занима-ло настоящее чудо: громадная, с хорошего поросенка, чере-паха. Она не нагоняла на меня страха, я приветливо улыбал-ся ей, но концовка все равно была одна и та же: я еду на жи-вой черепахе, прямо по середине улицы, пусть медленно, зато верно – что за беда! – и ребята показывают на меня пальцем.

После черепах шли рыбы в стеклянных сосудах, знако-мые, виденные на рынке и дома щука и карась, незнакомые рыбы с красивыми хвостами и тонкие, как стрелки, и про рыб тоже шла та самая концовка. В магазине было много странностей, к которым моя концовка не подходила, напри-мер какие-то личинки в баночках – как ни бился, я ничего не мог выдумать с этими личинками, – или сидела в банке здоровущая жаба, глядела вокруг немигающими выцветши-ми глазами – жабу в класс не принесешь, тут нет никакого геройства. За жабу могут и высмеять, могут пальцем пока-зывать на тебя со смехом, еще кличку, не дай бог, придума-ют: «Эй, жаба!»

В конце первого же шкафа, занимая его сверху донизу,

почти рядом с прилавком и старушкой в коричневом свитере, было самое страшное и самое привлекающее в этом магазине, но я нарочно отворачивал взгляд, нарочно откладывал самое страшное на последнее мгновение, когда уже все осматрю, все выгляжу до малейших подробностей и надо будет выходить, – вот тогда-то, перед уходом, и надо внимательно, не спеша, со вкусом, но и с трепетом разглядеть это самое-самое страшное, до которого мы в школе еще не добрались и неизвестно, когда доберемся, если, конечно, доберемся вообще. Так что я отводил взор на второй ряд стеклянных шкафов, где хранились вещи, мне менее понятные, но тем не менее тоже любопытные: пирамида с ровными, удивительно гладко отполированными гранями, песочные часы разных размеров, большие линейки, по которым можно чертить разве что на доске, но уж никак не в тетрадке, громадный учительский циркуль – тоже для черчения на доске, – деревянный, с острой железкой на одном конце и гнездышком для мелка на другом, глобусы двух размеров – большущий, руками не обхватить, и поменьше. В третьем ряду стояли колбы разнообразных форм, торчали веером стеклянные трубочки, сияли в коробках, раскрытых для красоты, разноцветные стеклышки и множество банок – ну точно как в аптеке, – больших и поменьше, где на наклейках тщательно написаны иностранные слова. В стенку, возле третьего ряда шкафов, был вбит громадный гвоздь – даже гвоздь в этом магазине был изумительным и невиданным: он представлял-

ся из стенки сантиметров на двадцать, не меньше, шляпка у него была с целый пятак. И вот на этом гвозде висела пачка больших географических карт – а верхняя прямо-таки излучала красоту, сияя красными, малиновыми, желтыми, изумрудными, голубыми, еще и еще какими-то цветами, названий которых я просто даже не знал.

Ну, вот и все.

За исключением еще двух достопримечательностей – старушки продавщицы и самого страшного.

Старушка мне нравилась одной особенностью: она все время дремала. Голова ее совершала однообразное движение: медленно-медленно опускалась, а когда безвольно падала совсем, старушка на мгновение приоткрывала затуманенные дремотой глаза, как-то гордо вскидывала голову – пока она вскидывала ее, глаза уже закрывались, – и голова едва заметными рывками падала снова.

Сколько раз я заходил в магазин ненаглядных пособий, старушка всегда сидела в коричневом свитере – даже летом, в жару, – всегда дремала, и по этой причине магазин мне нравился особенно крепко, потому что во всех других магазинах продавщицы смотрели на тебя, как змеи, не отрываясь, настороженно, немигающими глазами, точно стоит им раз моргнуть, как ты, тайный маленький мошенник, тотчас что-нибудь стянешь. А эта старушка знай дремлет себе, не смотрит на тебя подозрительно, не боится, что у нее упрут какой-нибудь товарец. Это дело понятное: кто на такой то-

варец позарится, да и попробуй его вынуть из этих стеклянных запаянных кубов!

Так что я разглядывал старушку, перед тем как посмотреть на самое страшное, спокойно и внимательно изучал, как у нее падает голова, открываются глазки, даже не видящие тебя, тут же снова закрываются, голова гордо вздергивается и медленно опускается вновь. Здорово получалось у старушки, ничего не скажешь! Почти экспонат! Может, даже ее купит какая-нибудь школа? Вот смеху-то будет! Ненаглядное пособие – спящая старушка.

Я похихикивал – негромко, чтобы, не дай бог, не разбудить продавщицу, хотя в душе совершенно не верил, что она может проснуться. Мне казалось, если даже заколотить школьным звонком у нее перед носом – здоровенным таким колокольчиком на деревянной ручке, – она не проснется, будет все так же поднимать и опускать голову, как заведенная.

И вот! Наконец! Всякий раз трепыхаясь как воробей! Холодея! Прижмуривая глаза от страха! Нехотя отрывая взгляд от спящей старушки! Я поворачиваюсь к стеклянному кубу прямо возле нее! И гляжу! Гляжу!

В стеклянном кубе, жутко ощерясь, страшно вглядываясь в тебя пустыми глазницами, навевая кладбищенский холод, стоит человеческий скелет. Гребешки распяленных костей вместо пальцев, желтые палки рук и ног, страшная яма таза, полая труба позвоночника и растопыренные ребра – кошмар!

Хочется закрыть глаза, выскочить из магазина, но что-то другое, тайное в тебе велит стоять, внимательно глядеть и не закрывать глаза, пока не пройдет положенное время. Будто испытание, назначенное тебе и самим собой и не собой, а кем-то другим, хорошо тебя знающим, послушаться которого ты не можешь, не имеешь права.

Я смотрел на скелет минуту, другую, третью, медленно поворачивался и не спеша выходил из магазина, только там, на улице, снова ощущая собственное дыхание.

Я не раз замечал: пока смотрю на скелет, жизнь будто замирает вокруг. Не слышно разговоров на улице, рыка машин, цокота лошадиных копыт. Не слышно даже собственного дыхания.

Через полквартала от магазина я сдерживал свой непривычно торопливый шаг, вертел головой, убеждаясь, что все вокруг по-прежнему, а через квартал в голову мне лезла все та же дурацкая мысль: ребята, да что там ребята – взрослые, все подряд, показывают на меня пальцем и говорят друг дружке: «Представляете, этот пацан купил скелет в магазине учебно-наглядных пособий!»

Купить скелет! От такой мысли веяло суеверной жутью, богохульством и вообще чем-то недозволенным, опасным, даже стыдным, но эта мысль неизменно приходила ко мне, правда, не раньше чем за квартал от магазина ненаглядных пособий, – наверно, это было безопаснее, за квартал.

Купить! Но как, если даже преодолеть суеверие, богохуль-

ство, опасность, стыд и недозволенность? Я ни разу не видел, чтобы старушка продавщица проснулась по-настоящему, а значит, ни разу не видел, чтобы кто-нибудь что-нибудь покупал в этом магазине.

Или мне не везло?

* * *

А теперь промахнем три с лишним года – хорошо, что это можно сделать, когда думаешь о прошлом: будущее так просто не промахнешь, оно движется день за днем в наше настоящее, с годами убыстряя свой бег, и ты все чаще возвращаешься к детству – да будет благословенно оно! Да живет вечно оно в нашей памяти, счастливо тягучее время начала жизни...

Итак, через три года, в конце третьего уже класса, как раз по весне, когда вскрылась река и с шорохом и гулом уплыли вниз по воде рыхлые серые льдины, наша Анна Николаевна, опоздав немножко на урок, привела с собой пацана в кителе с морскими пуговицами.

Эти пуговицы бросились мне в глаза прежде всего. В кителях ходили почти все офицеры – такая вводилась форма, то ли по причине военной поры, то ли по причине удобства и нужды: вид у кителя был строгий, шился он легко, а носился просто – знай меняй воротнички, вот и все.

Но пуговицы! У всех были железные пуговицы со звезд-

дочкой, а у Витьки Борецкого, который вошел в класс вместе с учительницей, редкостные для нашего сухопутного города чрезвычайно – с якорями. Анна Николаевна усадила Витьку в конце класса на свободное место и с минуту, наверное, обозревала пространство поверх наших голов, явно недовольная своим решением: далеко сидел Борецкий, далеко.

Мы хорошо знали, когда Анна Николаевна была недовольна: взгляд ее задерживался поверх наших голов дольше обычного. Порой, когда свет падал определенным образом на ее пенсне, было чуточку страшновато, потому что глаз учительницы за пенсне не было видно, а стеклышки блестяли, и казалось, что у нашей доброй Анны Николаевны огромные стеклянные зрачки. Но в тот миг особый взгляд был нам непонятен, неясным получалось это блистание стеклышками пенсне и медленное озирение класса. Наконец Анна Николаевна проговорила несколько расстроено:

– У Вити отец – новый начальник пароходства.

Да-а, тут было над чем поразмыслить.

Дело в том, что военное время разделило всех мужчин на две половины. На тех, кто воевал, и на тех, кто был в тылу. И фронтовики с презрением относились к тем, кто оставался дома: еще бы, на войне погибают, а в тылу как ни трудно, а все равно легче. Если повнимательней приглядеться, то и сейчас еще живо это неравенство – иногда справедливое, а иногда и нет, потому что всякому ясно: без тыла нет фронта и на одних женщин тыл тоже нельзя оставлять, много тяжко-

го приходилось на тыл – и голодуха зеленая, и смерть от дистрофии, и срочная стройка военных заводов без сна и отдыха, но что поделаешь, так считалось и так считается: кто в тылу, тот крыса и достоин только презрения, кто на фронте, тот герой, слава ему и честь. Что у взрослых, то и у ребятни.

Каждый класс и каждая школа делились на две половины – на тех, у кого отец воюет, и на тех, у кого отец дома.

Детей тыловики мы презирали, и, как часто это бывает у ребят, гораздо несправедливей и с большей жестокостью, чем взрослые фронтовики взрослых тыловики. Детский суд строг и не терпит объяснений. Любой суд обвинением кончается, а детский из одного обвинения и состоит.

Так вот, Витьку Борецкого требовалось немедленно зачислить в большую – фронтовую или меньшую – тыловую часть класса, и по всем строгим правилам детского суда попадал он в явные тыловики, но вот якоря на пуговицах и должность отца – начальник пароходства! – сильно смущали. И не только меня.

Якоря в моем представлении, даже речные, всегда дело серьезное, почти военное. А флот пуще того. Город наш стоял на реке не очень великой да широкой, но все же судоходной, и хотя он был также серьезным железнодорожным узлом и поездов, в том числе военных, ого-го сколько у нас проходило, паровозы и железнодорожники, даже военные железнодорожники, почему-то нашим уважением, как речные судоходы, не пользовались. То ли потому, что все же речники,

как и моряки, в бескозырках, то ли потому, что их во много раз меньше, чем железнодорожников, то ли потому, что пароход, как ни крути, посложней паровоза, все-таки не по рельсам ходит, им управлять надо, чтобы на мель не сел, – словом, полувоенные речники при черных морских бушлатах имели в нашем городе особые привилегии и если не были фронтовиками в полном смысле, то как бы приближались к ним. Впрочем, может, это было лишь мальчишеским ощущением, которое вовсе не передавалось взрослым?

Так или иначе, но Витька Борецкий просидел в классе тихо дня три, так и не определенный ни в какой лагерь. Сидел себе на предпоследней парте, посверкивал завидными пуговицами с якорями, был тих и аккуратен, тянул руку, если хотел сказать или спросить, в общем, был образцовым пай-мальчиком, совершенно не похожим на нашу шумливую братию, с шумливостью которой и вовсе не образцовым поведением Анна Николаевна давно уже смирилась. Откуда только такой приехал?

В общем, ЧП, в которое влип Витька Борецкий, произошло только лишь по причине его поразительной дисциплинированности. Я было подумал: уж не морской ли? Но тут же отмахнул в сторону свое предположение – нет, не морской.

Итак, был урок рисования.

Анна Николаевна, я думаю, пользовалась нашей особой любовью еще и потому, что не скрывала своего неравного отношения к предметам. Математику и русский она почита-

ла и это почитание всячески внушала нам.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.